



Дина Ильинична Рубина «...Их бин нервосо!» (сборник)

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=163951
«...Их бин нервосо!»: Эксмо; М.: 2007
ISBN 978-5-699-21259-0

Аннотация

Известная писательница Дина Рубина живет и работает в Израиле, однако ее книги пользуются неизменной популярностью на всем русскоязычном постсоветском пространстве.

«...Их бин нервосо» – книга особенная.

Жанр книги был определен автором как «свободный треп» и представлен читателю. Пишет Рубина легко и изящно. Основной материал книги – это современная израильская жизнь. Приземленная повседневность недавнего эмигранта и ностальгические воспоминания о советском детстве и юности. Смешные бытовые сценки, анекдоты из жизни русских израильтян, «трудности перевода» с иврита на русский и обратно. ... «читаем в разделе «Объявления»:

Содержание:

У писателя...

Я - офеня

Под знаком карнавала

"Я не любовник макарон", или Кое-что из иврита

Иерусалимский автобус

Дети

Я кайфую

Противостояние

"А не здесь вы не можете не ходить?!", или Как мы с Кларой ездили в Россию

"...Выпивать и закусывать..."

"...Их бин нервосо!"

Послесловие к сюжету

Ружье для Евы

Позвони мне, позвони!

Чем бы заняться?

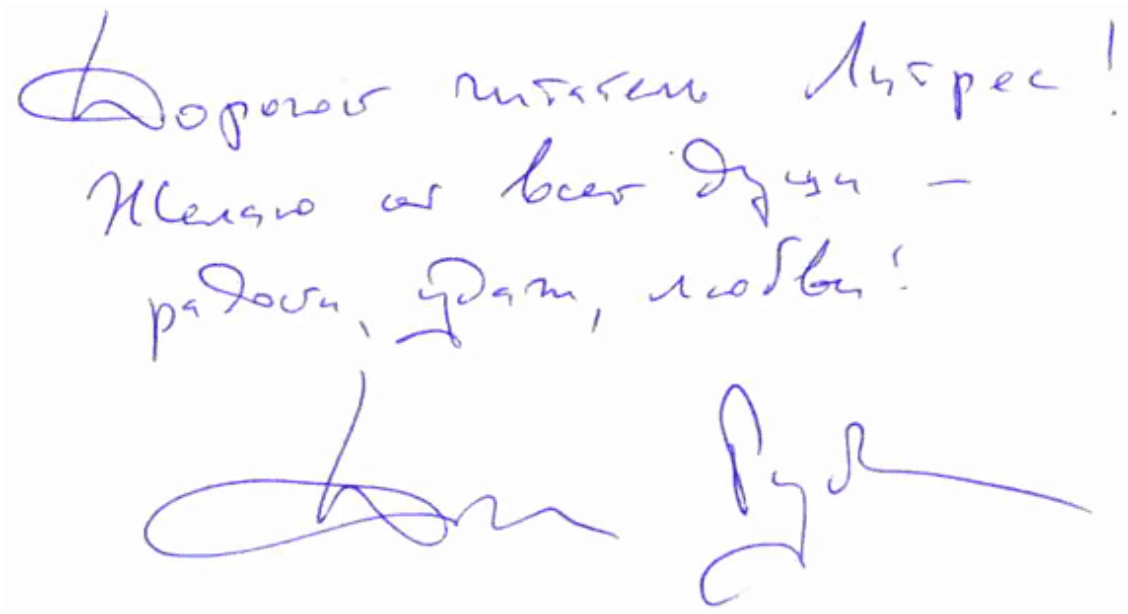
"Майн пиджак ин вайсе клетка..."

Содержание

У писателя...	5
Я – офеня	7
Под знаком карнавала	14
«Я не любовник макарон», или Кое-что из иврита	20
Иерусалимский автобус	24
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Дина Рубина «...Их бин нервосо!»

Мир существует, чтобы войти в книгу
Малларме



У писателя...

У писателя, как у любого мастерового человека, после окончания серьезной работы всегда остаются отходы производства: не вошедшие (по разным соображениям) в повесть, рассказ или роман эпизоды, образы, диалоги, детали... Все это годами копится в блокнотах и записных книжках, «остывает» – ведь ты отдаляешься во времени от написания своих вещей – и, наконец, забывается...

Но иногда, случайно, наткнешься вдруг на такой неиспользованный образ или диалог – и задумаешься, и обязательно мысль побежит дальше, дальше, отыскивая новые дорожки, рождая новые ассоциации. И давние какие-то картинки, давние слова или детали вдруг освещаются совсем с другой стороны. Вернее, на них просто падает отсвет сегодняшнего дня. Эге, думаешь ты со сметкой мастерового, а ведь эта рухлядь еще может послужить...

У нас во дворе – а это был большой двор большого южного города (о Ташкенте мне еще предстоит написать) – жили самые разные личности, которые как-то запоздало проявляются сейчас в моей памяти (так медленно в ванночке с проявителем возникают на фотобумаге человеческие лица). Мне даже интересно – где они до сих пор пребывали, если много лет я о них не то что не вспоминала, но даже не подозревала, что помню, даже не подозревала, что они существовали...

Так вот, эти люди проявляются, двигаются, живут и, главное, изрекают что-то, что вдруг изумляет меня, сегодняшнюю, озаряет тот или иной затененный уголок памяти и даже ненавязчиво подсказывает ответ на иной, мучающий меня вопрос.

Так вот, в нашем дворе среди прочих фигур и лиц разной плотности (ведь речь идет о моей памяти, то есть, о царстве теней) жил пожилой балбес Коля Шендерман.

Биография у него была бурная, но не романтически, а идиотски бурная, многожды он сидел по самым дурацким поводам и, в конце-концов, пристроился грузчиком на овощной склад. Из ворованных, как я понимаю, фруктов его старая мамаша варила в огромном зеленом баке компот, который потом, сидя у ворот, Коля продавал в жаркий день в розлив на стаканы.

Ему говорили:

– Немного имеешь с базы, Коля, а?

Он бодро отвечал:

– Чего там имею! Усушка-утруска, падалища... товар на выброс.

А был еще Залман, человек с трясущимися руками. Он работал где-то в пригороде, в каком-то подпольном еврейском цеху, где шили подушки. Цех, разумеется, работал на левом сырье, краденном с какого-то крупного предприятия. Так вот, Залман утаскивал оттуда разной величины обрезки (то есть крал отходы однажды уже украденного, возводил преступление в степень, или наоборот, отменял одним преступлением другое – минус на минус – в этом тоже есть что-то экзистенциальное, а? во всяком случае, есть над чем подумать), и своими трясущимися руками шил каких-то зверушек – слоников, собачек, – которые во дворе и окрестных переулках пользовались успехом.

– Человек с руками, – говорил он, – берет лоскутки-об-рэзки и делает полезную вещь...

Кстати, до сих пор, когда я слышу про кого-то – «человек с руками», я представляю трясущиеся руки Залмана.

И был дядя Фима, плотник, честнейший, но всегда пьяный человек, он мастерил вертушки. Если кто не знает – объясняю. Объясняю, потому что не уверена, что это не специфически ташкентская игрушка.

Итак: берем две палочки, делаем – как в детстве говорил мой сын – «наш советский крест» и на трех концах кнопочками или гвоздиками слабо прикрепляем розочки из скручен-

ной разноцветной фольги. Чем быстрее бежишь, тем яростней и веселей вертятся розочки. Вертушка стоила полтинник или тридцать копеек. Дядя Фима считал это пустяковым приработком и все пропивал.

– А! Счепочки... – бормотал он...

Однажды, разбирая свою тумбочку со старыми папками, афишами, блокнотами и записными книжками, и вынужденная сортировать весь этот хлам, я была поражена и даже растеряна количеством всевозможных «отходов производства». Я листала страницы записных книжек и натыкалась на давно забытые историйки, мимолетные образы, случайно подсмотренные гримасы, случайно подслушанные фразочки, незавершенные сценки. Как в мастерской формовщика, валялись вокруг меня чьи-то руки, головы. Только не гипсовые, а живые, давно подсмотренные, описанные и позабытые. «Непорядок», – подумала я, будучи человеком мастеровым, то есть хозяйственным.

Выяснилось, что на материале этого барахла отлично думается, рассуждается, вернее – «разговаривается»... Что один образ или мысль тянет за собой другие, и получается довольно интересный разговор на ту или иную тему... а по жанру какое-то недоразумение: очерк – не очерк, эссе – не эссе, а что-то литературно беспородное, лохматое, домашнее...

После третьей или пятой такой вещицы я задумалась – как же, все-таки, это обозначить? «Назови „Свободный полет“», – посоветовал муж.

«Да ну, – возразила я, – уж точнее будет „Свободный треп.“»

Эти легкие, необремененные «мучительными вопросами бытия», вещицы я стала читать на своих выступлениях, и вскоре обнаружилось, что публика относится к ним благосклонно.

Более того.

– Почему бы вам не опубликовать все это, – убеждают меня. – Это и забавно, и грустно, и поучительно. Из таких вот непритязательных картинок складывается общая картина жизни, и даже в чем-то проясняется и детализируется картина эпохи.

И, все-таки, я долго не решалась включить в какую-нибудь свою книгу этот «свободный треп».

Не могу отнестись всерьез к отходам, даже когда они меня кормят. Видно, так уж устроен мастеровой человек. Вторсырье для него изначально понятие бросовое. Поэтому, стеснясь, я решила отделить, выгородить в небольшую книжку отходы своего производства, полагая все же, что некоторую пользу они принести могут.

– Усушка-утруска, – бормочу я, перелистывая страницы давней записной книжки, – лоскутки-обрезки... Щепочки...

Я – офеня

Поем мы или играем, пляшем или пишем, читаем лекции или рисуем картины, суть одна: мы как есть трубадуры, и давайте хоть без особой чести выходить из этого положения.

О'Генри, «Последний из трубадуров»

Офеня: ... ходоуиик, контюужник, разносчик с извозом, коробейник и мелочник, щепетильник, торгош в разноску и в развозку по малым городам, селам, деревням, с книгами, бумагой, иглами, сыром и колбасой, серьгами и колечками.

В.И. Даль

Я – офеня.

Сыр и колбаса, положим, нарезаны на бутерброды и лежат в сумочке на случай опоздания самолета (поезда, автобуса), серьги в ушах, а колечки – на пальцах... но в остальном я, конечно, тот самый ходоуиик, торгош в разноску и развозку по малым и большим городам. То есть, я – разъездной себе литератор, промышляющий на собственных вечерах продажей собственных книг. Такова реальность моего бытия.

На этих днях в Москве у меня выходит книга. По договору с издателем я должна получить определенное количество экземпляров. Моя московская приятельница ругает меня по телефону.

– Почему вы не настояли на гонораре! – возмущается она. – На черта вам книги сдались, торговать вы ими станете, что ли?

И я, запнувшись на мгновение, смущенно:

– В общем-то... да. Стану.

Вернулся из очередной гастрольной поездки Игорь Губерман, позвонил и сказал:

– Чего ты сидишь? Езжай в Германию, там сейчас все только разворачивается, куча нашего народу подвалила. Заработаешь, я наводки дам. Дранг нах остен, – говорит. – Гот митунц, Германия превыше всего.

– Ты-то как съездил? – спрашиваю.

– Сорок концертов. Теперь, – говорит, – я понимаю, почему публичные девушки наутро бывают угрюмы... Ты после окончания турне не сразу возвращайся, добавь себе дня три.

– На музеи-экскурсии? – спрашиваю.

– Какие музеи! Будешь спать и пить. Пить и спать. Чтоб расслабиться.

– Чего пить? – не поняла я.

– Водку, дура! – проговорил он устало.

...Иногда я думаю – ну что ж, ведь вот и артисты живут этой собачьей разъездной жизнью, и ничего, радуются гастролям, выходу на сцену, лицам в зале...

Хотя и у них всякое бывает. Актер Женя Терлецкий рассказывал, как однажды они с театром возвращались поездом в феврале из Сочи с довольно неудачных гастролей.

Вышел он в тамбур покурить, а там, в характерной такой присядке – на корточках – сидит ну явно уголовный элемент и тоже курит. И Женька стоит, курит. Тот спрашивает – что, мужик, хмурый такой? Женька говорит – мол, так и так, возвращаюсь с неудачных гастролей.

Тот присвистнул, сплюнул:

– Ну ты даешь, мужик! Кто же в Сочи в феврале на «гастроли» ездит!

А когда Женька, улыбнувшись, объяснил – что это за гастроли, тот задумался, покивал:

– Интересная у тебя профессия, мужик. Вот у меня братан артист, так я его пять лет не видел, и ни хера не соскучился!

Нет-нет. Актерство – другая профессия, другой темперамент, иные приводные ремни к тому, что называется мироощущением. Писатель – профессия оседлая, сокрытая, непубличная.

А у меня еще и характер «оседлый». Даже мысль о скором отъезде приводит меня в страшное раздражение. Когда уезжаю, а потом возвращаюсь, я долго привыкаю к собственному дому, долго вспоминаю – куда подевала нужные бумаги и вещи... Почему-то любой отъезд, любая, даже краткосрочная, отлучка у меня – «прервалась связь времен»... К тому же, по моему глубокому убеждению, писателю вообще негоже показываться публике на глаза.

Не в том смысле, что – «ты царь, живи один», а в том, что для работы это ничего не дает. Только вредит. Публике ведь не почитаешь новый роман страниц на четыреста, на который ты ухлопала несколько лет жизни. Публику утомлять не след, вот и кувыркаешься. Читаешь коротенькие забавные рассказы пятнадцатилетней давности, от многократного чтения которых у тебя вырабатывается стойкий рвотный рефлекс. Повторяешь зазубренные «связки», травишь байки, якобы только что пришедшие на память. Изображаешь во все лопатки живой увлекательный диалог.

А в это время боковым таким, ироничным сознанием память бежит-бежит, выхватывает из своих запасников и показывает тебе же полузабытые картинки. Например, пьяную тетяГалю между двумя потоками несущихся машин.

Она жила у нас во дворе, опустившаяся Мальвина. Была простой милой женщиной. Убирала «по людям». Вымоет одну квартиру, получит рубль, вымоет вторую – второй рубль, вот она и счастлива. Выпьет бормотухи и «выступает». Буквально, не в переносном смысле: любила выступать.

Пела высоким ломким голосом романсы и советские песни, особенно Пахмутовой. Для этого выбирала возвышение – интуитивно понимала, что номер требует сцены.

Обычно это бывало крыльцо нашего подъезда или ступени гастронома в доме напротив. Иногда она взбиралась «на фонарь» – посреди двора стоял деревянный столб с несколькими железными скобами. ТетяГалья залезала на две-три скобы (это было достаточно высоко и опасно, спьяну можно было грохнуться и кости переломать), одной рукой держалась за железную скобу, другую простирала к зрителям, широко поводила ею в такт мелодии... А любимый номер был: «ласточка».

Выходила в центр двора или на площадку перед гастрономом, или даже на проезжую часть дороги, и делала «ласточку»: стоя на одной тощей ноге, поднимала другую, наклоняла корпус, разводила в стороны прямые руки, гордо, как флагман нового мира, задирала голову со свалывшимися кудряшками... ну, это известная гимнастическая фигура.

Однажды я заступилась за честь тетяГали. Она, помню, напилась и выступала на проезжей части оживленного шоссе, делала «ласточку» меж двумя потоками несущихся на большой скорости машин. По сторонам шоссе собралась толпа, люди показывали пальцами, хлопали, смеялись. По испитому лицу тетяГали видно было, что она счастлива, она – настоящая артистка, успех, успех! Какая-то приличная женщина в пальто из шерсти модной в том сезоне ламы остановилась рядом со мной, вздохнула, покачала головой:

– Ну, до чего люди бессовестные, безжалостные. Над больным человеком смеются.

– Она не больная! – огрызнулась я.

– Как не больная! – ахнула дама. – Настоящая душевнобольная. Сумасшедшая.

– Кто – сумасшедший? – спросила я оскорбленно. – Она сумасшедшая?! Да она поумнее вас будет.

Тогда я, конечно, не догадывалась, что во мне взмыло и затрепетало чувство цеховой солидарности.

Господи, знала бы давно покойная тетя Галя, как часто вспоминает ее хмурая девочка из третьего подъезда. Ведь мне, на моих «выступлениях», бывает, и петь приходится, если, конечно, песня попадается в тексте рассказа. А может, на старости лет я и до «ласточки» доживу? Кстати, довольно живо себе это представляю.

Тетя Галя, добрая, пьяная Мальвина, заступись там за меня, на своих – не сомневаюсь – райских подмостках!

Тому же Игорю Губерману я пожаловалась однажды, что чувствую себя заезженной патефонной пластинкой. Он сказал:

– Старуха, хорошо тебе! Я себя жуликом чувствую.

Кстати, о жуликах. Совсем недавно я обнаружила, что у меня есть конкурент.

Мой сын, охламон и неуч, когда остается без гроша в кармане, тайком приторговывает моими книгами. Он даже подписывает их: «Жилаю щастя. Афтор» (русский язык основательно подзабыл с тех пор, как его привезли сюда в небольшом возрасте).

Одну такую книгу – непроданную – я случайно обнаружила в его рюкзаке, который опорожняла перед стиркой. Был скандал. Я закатывала глаза и кричала: «Будешь торговать ими на моей могиле!!!». В семейных скандалах я обычно являю собой дворовую одесскую фурию.

Потом любопытство (афторское) взяло верх, и я долго допытывалась: где он ловит доверчивых читателей? – хватает за рукава на центральной автобусной станции? Звонит в квартиры, зазывно улыбаясь, как страховой агент? Наконец, потупившись, он раскололся: объяснил, что приставал к пассажирам в автобусах, заводил разговор о литературе, о том, что в наше время, в нашем потребительском обществе интерес к ней сохранился только в среде подлинной интеллигенции. И если человек подхватывал эту песню, интересовался: кого из современных писателей тот предпочитает. Далее, он мне клялся, что каждый пятый предпочитал мои книги. Зато попались три оголтелые тетки, которые, трясаясь от ненависти, заявили, что задушили бы меня собственными руками. «Наверное, прототипы...» – удрученно вздохнув, объяснил сын.

Я вообразила лицо какого-нибудь своего читателя в тот момент, когда с благодарной улыбкой он раскрывает книгу и упирается в «жилаю щастя афтор». И расхохоталась. И долго хохотала раскатистым звонким безумным смехом, понимая, что и жизнь моя протекает вполне в жанре моей прозы.

Я – офеня, и потому должна рекламировать и расхваливать свой товар. Например, читать из своих книг какие-то забавные эпизоды, завлекать и развлекать публику. Как зазывала перед кукольным театром на ярмарке. В конце выступления обязательно оставляю время для ответов на вопросы. Обычно могу предугадать все вопросы, которые зададут мне из зала. Впрочем, тут играет роль «специфика страны». В Америке мне часто кричат из задних рядов надтреснутым старческим голосом: «Не отдавайте ни пяди нашей земли!» – этих я обожаю. А прошлой осенью в Германии (пролетающие за окном вагона горящие золотом и багрянцем леса Саксонии, тонконогие немецкие кони, лакированными гребнями воткнутые в изумрудные луга) я, как пророк Самуил, отвечала на два главных вопроса: «Правда ли, что Михаил Козаков вернулся в Россию?» и «Как в Израиле относятся к российским евреям, уезжающим жить в Германию?»...

Часто из зала присылают укоризненные записки насчет неумеренного употребления мною в прозе неформальной лексики. Выглядят они так: «Вы такая милая интеллигентная женщина и устно, смотрю, не ругаетесь. А вот в книгах встречаются бранные словеса. Зачем это вам?», или «Что ж вы, прям, как Губерман! Ну он-то хоть мужчина...»

Такие записки я тоже очень люблю, так как они открывают простор для свободного трепанья – вещи очень важной на выступлениях, дающей зрителям ощущение необязательной живой беседы, легкой импровизации... Откуда слушателям знать, что на этот надоевший

стандартный вопрос есть у меня научно обоснованный, многожды апробированный, снабженный байками, ответ. Немного истории, немного о Баркове, об Афанасьеве, о великом знатоке русского мата Иване Алексеевиче Бунине... две-три байки, высмеивающие ханжество... и через пять минут чопорная публика доброжелательно и снисходительно смеется...

И вот, нынешней весной в Америке (рогатый даунтаун Чикаго, малиновые кусты бересклета в парках, белки, выписывающие в траве пушистые пунктирные дуги), когда я выступала в некоем богемном заведении на Брайтон Бич, из зала приходит записка (которую, надо сказать, я всегда жду с нетерпением): «Вот гляжу на вас, и сердце радуется: и скромная, и веселая, и культурная... А книжку вашу откроешь – там ведь и ругань попадается. Как же так?»

Вдохновленная поводом для «импровизации», я подняла голову, дабы привести в действия все, имеющиеся в наличии орудия, и... обомлела: передо мной на противоположной стене полуметровыми буквами было начертано известное заборное слово из трех букв, обведено кругом и перечеркнуто на манер дорожного знака. Под картинкой было написано: «У нас в ресторане не матерятся!»

Плохо то, что языков не учила в школе. Все как-то «Этюды» Черни вспоминаются, особенно, когда подходишь к окошечку железнодорожной кассы и начинаешь заискивающе мычать, глядя в голубые глаза вежливой немки. Впрочем, на уровне «твоя-моя» я все же пытаюсь объясняться, только слова путаю. В английском, например, путаю «джус» (сок) и «джуиш» (еврей) и, бывает, вгоняю в ступор подошедшую официантку, вежливо требуя вместо апельсинового сока принести оранжевого еврея. В немецком того хуже: путаю слова «гляйс» (платформа) и «ляйхе» (труп), в связи с чем несколько раз приставала к полицейским на вокзалах с просьбой помочь мне найти второй (или третий, или девятый) труп.

Вообще, забавную жизнь ведет наше подсознание, а ассоциативная память выкидывает коленца, какие врагу не пожелаю. Я, например, всегда панически боюсь опоздать на свое выступление. Навязчивая идея, мания опоздания.

Просто в далекой юности я подхалтуривала от «Общества книголюбов» в седьмых классах школ на предмет ознакомления их с вершинами отечественной поэзии. Например, читала стихи Велемира Хлебникова. Член Союза писателей стоил в то время пятнадцать рублей, минус рубль двадцать подоходный налог. Выгодно было проехаться сразу по трем школам.

Человек я пунктуальный, и бывало, чтоб не опоздать, торопилась с трамвая на троллейбус, с автобуса на метро... и всегда успевала. Но однажды я все-таки опоздала. И когда подходила к дверям 7-го «А» класса, навстречу мне повалила прыщавая толпа с радостными воплями: «Ура!! Актерка сдохла!!»

С тех пор я предпочитаю не опаздывать.

В своих каторжных путешествиях веду жизнь переносной клади. Незнакомые добрые люди встречают меня в пункте А, снимают с самолета, везут к себе, кормят, ставят под душ; затем, надев чистую блузку и концертный пиджак, я предстаю пред свежей публикой. После чего добрые люди сажают меня по направлению к пункту Б, где уже другие добрые люди снимают меня с самолета (поезда, автобуса) везут к себе, кормят, ставят под душ и т. д. ...

В далекой моей, отнюдь не конвенциональной юности был такой персонаж – Ленька Вайнтруб. Был он немножко гипнотизер, немножко фокусник, немножко экстрасенс. Работал от подмосковной филармонии на азиатскую провинцию, этим кормился. Звонит, бывало, в Коканд, договаривается насчет гастролей, приходит ему служебная телеграмма: «Приглашается Вайнтруб гастроли Коканд гарантируем оплату оба конца». Или с Ургенчем договаривается. Приходит телеграмма – «Приглашается Вайнтруб гастроли Ургенч», ну и так далее...

Однажды договорился с филармонией города Андижана. Приходит телеграмма: «Приглашается Ваш труп гастроли Андижан гарантируем доставку оба конца».

И вот сколько лет прошло, хохма устарела, Ленька постарел, да и все мы – бывшие юные хохмачи – стали дядьками и тетками не первой свежести. А вот – неизменно – выхожу в аэропорту, умоляющими беспомощными глазами нащупывая встречающих, а где-то там, с самого доньшка ассоциативной памяти обязательно всплывает: «Приглашается Ваш труп...»

К тому же, меня мучает вопрос – не стала ли я уже свадебным бараном? В Узбекистане, где я родилась, невест покупают. Как и везде на мусульманском Востоке. Калым – называется выкуп. Помню, в далеком детстве кто-то из жителей нашей махалли перед свадьбой купил на базаре ягненка, предназначенного в уплату за невесту. Свадьба прошла, и в следующий базар родители невесты продали ягненка очередному жениху. Так с тех пор и пошло. Ягненок вырос, превратился в барана и все продолжал разъезжать по свадьбам. Праздная жизнь плохо сказалась на его характере, он стал наглым, дрался с собаками и женихом. И любил разъезжать на легковых машинах...

Как-то жарким летним вечером к воротам наших соседей подъехала машина. За рулем сидел дядя Лутфулла, рядом с ним – тетя Башорат, а за ней, на месте вынутого заднего сидения стоял калымный баран. Через боковое стекло просматривался его наглый самодовольный профиль.

– Барана купили, – сказал мне довольный дядя Лутфулла, вытирая платком потное лицо...

...Так вот, когда в очередном городе очередные милые люди встречают меня и, ласково улыбаясь, ведут к своей машине, я чувствую себя – о, не свадебным генералом, отнюдь! – скорее, свадебным бараном.

...Я – офеня. И в этом есть свои положительные стороны. Например, в процессе торговли своими книгами, я научилась складывать и вычитать – то есть, осилила арифметические действия, до сих пор для меня недоступные. Впрочем, выше себя не прыгнешь, и я все равно напрягаюсь и цепенею, когда требуется проделать в уме одновременно несколько таких действий.

На днях позвонил знакомый, математик, Аба Тарату-та, сказал, что какие-то его друзья из Швейцарии просят купить все мои книги... Договариваемся о встрече.

– Сколько мне взять денег с собой? – спрашивает Аба.

Я задумалась, как обычно, когда надо что-то с чем-то сложить или отнять.

В таких случаях я начинаю рассуждать вслух:

– Пойдите... одна стоит сорок, две других по тридцать пять... Тридцать пять и тридцать пять – это... семьдесят... Сорок и семьдесят... – это сколько будет?

Аба, математик, до сих пор терпеливо выслушивающий мое жалкое бормотание, воскликнул:

– Господь с вами, кто это может знать! Вам этого никто не скажет.

Я – офеня. И даже из этого я извлекаю свой писательский «навар».

От постоянных разъездов, бесконечного чередования новых лиц, новых городов, новых стран вырабатывается некий специальный взгляд не «со стороны» даже, а нездешний такой глазок, вспышка фотографическая, способность к созданию моментальных снимков. Гротескных, как правило, ибо жизнь смешна и люди нелепы, хотя и прекрасны и трогательны в этой нелепости. Когда – бродячий трубадур – я натываюсь в странствиях на «свой» персонаж, я испытываю к нему нежность людоеда, почти любовь, почти страсть. И предвкушаю, как впоследствии набыю это чучело соломой.

Опять же из недавнего путешествия по Германии: после выступления меня зазвали на обед, и хозяин дома – в далеком прошлом актер Куйбышевского ТЮЗа, в недавнем прошлом

– чиновник министерства культуры РСФСР, исконно русский человек, объясняет проникновенно:

– А я пошел актерским путем, путем вживания в роль. Сказал себе: «Я – немец, я вернулся на Родину и учу родной немецкий язык, и с каждым днем он будет улучшаться...»

Соловьиная песнь вожденной любви грянула в моем людоедском писательском сердце. Ах ты ж, ненаглядный мой, думала я, любуясь, немец ты мой простодушный. Воспою, воспою непременно!

Один из распространенных типов моих зрителей-слушателей – тип старого недоверчивого еврея. Один такой, в Бохуме, заявляет организатору моего выступления:

– Вот вы собираете взносы на общину... А я не знаю – куда эти деньги идут.

– А вы приходите завтра на концерт, – доброжелательно говорит координатор культурной программы, – тогда узнаете.

Тот, ровным голосом:

– Что за концерт. Культуртрегер, на подъеме:

– Выступает писательница из Израиля! Старик, тем же безинтонационным тоном:

– Что за писательница.

Культуртрегер вдохновенно:

– Замечательная писательница из Израиля!

– Израиль выпустил двух выдающих писателей, – назидательно говорит старый еврей, – Пастернак и Бродский. Других не знаю!

В этом, довольно смешном, замечании есть своя правда. Странствующий писатель отнюдь не эстрадный певец, которому стоит лишь рот раскрыть, чтобы его, по крайней мере, слушали. Писатель, самый «замечательный», вовсе не обязательно – «замечательный выступатель». Как правило, наоборот.

И вообще, в искусстве трудно бывает что-либо кому-либо доказать.

Предпочтения – вот истинная в искусстве оценочная шкала.

Мне кажется, идеально иллюстрирует это очередной «случай из моей жизни». Есть такой композитор Кейдж. У него есть фортепианная пьеса, называется «Ожидание». Исполняется она так: выходит пианист, садится за инструмент и, не прикасаясь к клавиатуре, сидит с секундомером в руке ровно три минуты сорок четыре секунды. Потом встает, раскланивается и уходит за кулисы. Такая пьеса. Такая музыка. Однажды в годы моей консерваторской юности приехал в наш город известный пианист, и мы, с моим однокурсником Сенькой Плоткиным пошли на концерт. Где-то в середине программы между ноктюрном Шопена и пьесой Хиндемита объявляют Кейджа, «Ожидание». Выходит пианист, садится к инструменту, сидит... Сидит... Проходит минута, другая, на третьей минуте зал понял, что это не недоразумение, пианист не забыл ноты, не помрачился рассудком, что это музыка такая. Тогда Сенька хлопнул меня по колену и восторженным шепотом завопил: «А Пашка Егоров играл это лучше!».

Так что, в искусстве, особенно в литературе, вы никогда никому не докажете, что «Пашка Егоров» не «играет это» лучше вас.

Вот еще беда: не умею давать интервью. Не умею однозначно отвечать на вопросы, самые, казалось бы, ясные, простые и определенные. Торопю и всерьез задумываюсь, пытаюсь вот в эту минуту проникнуть в суть предмета. Очень тяжело и мучительно взвешиваю слова. Может быть потому, что ни в чем относительно себя не уверена. Постоянно, ежесекундно меняюсь на каком-то глубинном, клеточном уровне. Нет твердого мнения по многим вопросам, вернее, оно просто не успевает затвердевать. Поэтому, когда читаю собственные излияния, неделю назад записанные корреспондентом на пленку и пунктуально (я ставлю обычно такое условие), воспроизведенные на бумаге, я прихожу в отчаяние. Хоть в суд на саму себя подавай за клевету и искажение мыслей.

В связи с вышесказанным к жизни меня привязывают не фундаментальные мировоззренческие канаты, не крепко сплетенная многолетняя сеть человеческих отношений (родственных, дружеских), а такие пустяки, такая шелуха картофельная, такие фантики разноцветные, что и признаваться стыдно.

И все-таки бывают в жизни потрепанного дорожными передрягами офени свои звездные часы – полные залы, ломящиеся за книгами читатели. Бывают и «свои» неформальные, странные отношения с поклонниками творчества. Иногда от переизбытка чувств мои читатели дарят мне на выступлениях подарки: вязаные носки, керамические фигурки, маски, сумочки... Это всегда трогает меня чуть не до слез, и я стараюсь «в обмен» всучить свою книжку.

«Ну что ж, – заметил на это один мой приятель-экономист, – ты делаешь успехи. Уходишь в глубь веков. Вступаешь уже не в товарно-денежные, а в доденежные отношения».

И вот я думаю: может, недаром я – офеня? Может, это такая форма бродяжничества – там словечко подберешь, тут картинку ухватишь, здесь типаж заметишь. А заодно и книжку свою продашь, глядишь, и прокормимся.

Я и эту страну вдоль и поперек изъездила, что нетрудно. Запасешься бутербродами, сумки в руки, и – на автобус: ходебщик, контюжник, торгаш в разноску и развозку, щепетильник и мелочник, одним словом – офеня.

А когда на спинке израильского автобуса написано фломастером по-русски: «Ася – сука», как-то уютнее чувствуешь себя на этой земле...

1997 г.

Под знаком карнавала

Разница между комической стороной вещей и их космической стороной зависит от одной свистящей согласной.

В.В. Набоков

Который год пытаюсь понять – что держит меня на плаву в моем небезупречном, небезболезненном и небезоблачном здешнем существовании. И думаю – его откровенная, brutальная, убийственная карнавальность. Перемена лиц, образов и масок; вывернутый наизнанку смысл существования; ситуации-перевертыши, их откровенная театральность и откровенный фарсовый идиотизм. Маски грубо размалеваны, служанка переодета госпожой, госпожа – куртизанкой и все играют чьи-то роли. Играют грубо, упрощенно, условно, ибо ничего не поделаешь – площадной театр.

И только иногда блеснет в прорези глаз идиотской маски внимательный и насмешливый взгляд, каким смотрят на нас с портретов шуты Веласкеса.

Вот такая история.

Живет в Израиле человек по фамилии Ленский. Это еще не начало карнавала, еще не смешно. Обычная еврейская фамилия, у нас и Пушкины попадают.

Когда-то в Советском Союзе этот Ленский в знак протеста против ввода советских танков в Прагу сжег красный флаг на площади Свободы в Риге. Разумеется, его схватили, судили, дали срок, который он отсидел тюtelька в тюtelьку.

После чего репатриировался в Израиль, на историческую Родину, в демократическое государство, где, как он полагал, забудется страшный коммунистический сон.

Но в Израиле в то время у руля стояла Рабочая Партия, у которой, как известно, на трибуне с одной стороны был национальный бело-голубой флаг, а с другой – красный.

Что там говорить. Ленский сжег красный флаг на площади Царей Израилевых в Тель-Авиве. Его схватили, судили, дали срок (надо отдать справедливость – гораздо меньший), он отбыл его и вышел на свободу. И вышел он на израильскую свободу законченным диссидентом.

Жил на так называемых «территориях», состоял в экстремистской организации КАХ, ходил с оружием, участвовал во всех антиправительственных демонстрациях, (неважно – какая партия стояла у власти), а также митинговал на всех митингах. Он участвовал во всех забастовках – будь то служащие аэропорта Бен-Гурион или работники детских садов и ясель. Словом, человек сросся с карнавальным костюмом «закоренелый правонарушитель».

Стоит ли говорить, что израильская полиция и органы госбезопасности в любой заварушке привыкли тянуть за ниточку, которая приведет к вечному диссиденту Ленскому.

И вот моя соседка, работающая каким-то мелким секретарем в следственном отделе иерусалимского полицейского управления, описала мне сценку, свидетелем которой стала на днях.

Действующие лица:

Студент, юноша лет двадцати, из интеллигентной ленинградской семьи, привезенный в страну в возрасте шестнадцати лет – то есть, человек, обремененный некоторым грузом русской культуры.

Офицер полиции, йеменский еврей лет сорока пяти, привезенный в страну в детстве. В любом случае никак не обремененный грузом русской культуры.

Между ними происходит следующий диалог.

Полицейский:

– Ты про Ленского слышал? Студент:

– Да... конечно. Полицейский:

– От кого?

Студент иронически поднимает брови, оглядывается на секретаршу, наконец говорит:

– То есть как – от кого? От Пушкина.

Офицер быстро пометает что-то на листке перед собой.

– А где он сейчас – знаешь?

– В каком смысле – где? – настороженно спрашивает молодой человек, – его же это... убили...

– Как – убили?! – вскрикивает визави. – Кто убил?! Он вскакивает из-за стола и начинает в страшном возбуждении кружить по комнате. Очевидно, его сильно задевает тот факт, что этот сопляк знает об убийстве Ленского, а он, офицер полиции, почему-то не знает. Он останавливается напротив студента и повторяет:

– Кто убил?

Студент, уже чувствуя, что этот странный разговор с сумасшедшим любителем пушкинского романа пошел по какому-то неправильному руслу, поеживается и тихо говорит:

– Ну, как же... ну, этот... Онегин же... Полицейский подскакивает к столу, быстро записывает и это показание.

И только когда он пытается выяснить точную дату убийства, а юноша, явно подсчитывая что-то в уме, бормочет, что приблизительно в первой четверти девятнадцатого века... следует, как – у Гоголя – финальная сцена с застывшими фигурами и вытаращенными глазами...

Гротескным преобразованиям, искажениям, перевоплощениям смыслов подвергается и язык – важнейшая, если не главная, субстанция нашего существования в социуме.

Обратите внимание: коверканье языка, комические языковые ситуации занимают сейчас обширное место на страницах юмористических изданий повсюду в эмиграции – Германии, США, Израиле.

Мучительное надевание чужого языка, постепенное переодевание сознания – это ли не трагический карнавальный процесс, суть болезненных эмигрантских перевоплощений! А ведь с годами происходит еще и обветшание родного языка, частичная его потеря, прорехи именно в смысловых, подтекстовых оттенках.

На днях сижу в офисе своего издателя, обсуждаю условия опубликования новой книги. Радио на русском языке, которое работает у нас двенадцать часов в сутки, включено на всю катушку. Идет передача, в которой обычно знакомят слушателей с тем или иным печатным изданием, берут интервью у известных журналистов и писателей, у редакторов газет и журналов. Ведет передачу бойкий старожил. Владелец глубокого бархатистого баритона, когда-то, в далекой молодости, он озвучивал линии ленинградского метро («Осторожно, двери закрываются, следующая станция – „Василеостровская“»). Репатриировавшись, обнаружил, что метро здесь еще не построили, зато радиостанции «Голос Израиля» требуется диктор. С началом Великой Алии он расцвел, стал вести литературные передачи, брать интервью у приезжих и местных знаменитостей. Правда, за эти годы язык он не то чтобы подзабыл, а как-то... перестал вслушиваться в смысл того, что говорит.

Его собеседник – главный редактор одной из газет, выходящих на иврите, назовем его господин Шапиро. В молочном возрасте его привезли сюда из России, и он понимает по-русски, пытается говорить и искренне считает, что знает этот язык, на котором говорили с ним его родители. Стоит ли уточнять, что смысл многих его слов и фраз тоже нуждается в некотором дополнительном объяснении.

И вот в открытом эфире происходит следующий диалог:

– Господин Шапиро, – бодро и напористо вступает ведущий, – многие наши радиослушатели интересуются: какого размера ваш почтенный орган?

Господин Шапиро, профессор, автор нескольких монографий, почетный член нескольких зарубежных академий, задумывается на мгновение, затем, преисполненный достоинства, медленно произносит:

– Обычного. Нормального. По пятницам несколько увеличивается... (само собой, он имеет в виду ряд пятничных приложений к своей газете).

И оба этих, весьма довольных собой, господина даже не задумываются – что они несут в открытом эфире.

В этом перевернутом, вывернутом наизнанку мире наши дети – особь статья. Понятно, что везли их сюда за: здоровым национальным самоощущением, чувством собственного достоинства, раскованностью, знанием языка предков, традиций, культуры, религии. Но – Боже мой! – не за тем же, чтоб они потеряли наш болезненно любимый, родной, самый – прекрасный – на – свете русский язык! А они, наши дети, катастрофически его теряют.

Заставить мою двенадцатилетнюю дочь прочесть несколько страниц по-русски – забойный труд шахтера, вгрызающегося в скальные породы.

– Ну почитай «Трех мушкетеров»!

– Я уже читала на иврите.

– Вот видишь, а роман «Двадцать лет спустя» на иврит еще не переведен. Французского ты не знаешь, выходит, вообще эту книгу не прочтешь? А, знаешь, сколько прекрасных книг на иврит еще не переведены, а на русский уже переведены? Ты согласна их не узнать никогда? А книги своей матери ты тоже будешь на иврите читать?

И т. д., и т. п...

И с бессильной горечью наблюдаешь, как медленно и неотвратно уплывает твое дитя к берегам другого языка, и с ужасом понимаешь, что ему не интересны книги твоего любимого Юры Ковалю, что про Мэри Поппинс и про Винни Пуха твой ребенок прочел уже на иврите, а по-русски не прочтет никогда.

Объявление на дверях книжного магазина: «Удержите детям язык!!!»

Два года подряд я предпринимала в этом направлении почти героические усилия. Например, отправила свою дочь на уроки русского языка и литературы в вечернюю русскую школу. После занятий пробовала обсуждать пройденное на уроках заискивающим тоном.

– Ну... что вы сегодня учили?

– Этого... ну... Толстов.

– Льва Николаевича Толстого! – преувеличенно артикулируя, говорю я. – Великого русского писателя. Что именно вы читали?

– Это... «Сливная костячка»...

– «Косточка»! – подхватываю я с преувеличенным вдохновением. – Это прекрасный рассказ для детей. А ты можешь пересказать мне содержание?

Она мнетя, похныкивает, переминается с ноги на ногу и посматривает в сторону телевизора, где должна начаться популярная юмористическая передача «Зэуэ!» (точно это восклицание перевести невозможно, приблизительно так: «О, это оно!» или точнее: «Ото то!»). Актеры – довольно крупные мужчины, переодетые женщинами, (огромные накладные сиськи, лохматые парики, вульгарно накрашенные губы) бегают друг за другом, виляя задами, падают на пол, задирая вверх волосатые ноги в дамских туфлях сорок второго размера и щиплют друг друга за все мыслимые части тела.

Долгое время ничего, кроме недоумения и омерзения, эта политическая передача во мне не вызвала. Пока вдруг я не поняла: да это же ни что иное, как площадной театр, карнавал в чистом виде!

– Если ты перескажешь мне содержание «Косточки», – говорю я, понимая всю жалость этого педагогического приема, – я разрешу тебе включить телевизор.

Она долго думает, морщит лоб, ковыряет болячку на руке, выворачивая локоть, наконец говорит:

– В общем, там подняли хай из-за фруктов... Представляешь, считали, кто сколько съел! И папа сказал детям: «Дети мои! Или вы съели эту сливу? Или вы хотите через это хорошо получить? Не говоря уже об совсем умереть?..»

– Можешь включить телевизор, – разрешаю я упавшим голосом.

Тут уж не до бесед типа «поговори со мною, мама!». Хоть бы на старости лет стакан воды нам подала, что ли, говорю я мужу, если к тому времени не забудет, как по русски будет «вода»...

Любопытно, что все ино-земное, ино-родное, ино-культурное, попав сюда, в эту стихию кромешного карнавала, немедленно вовлекается в его бешеный водоворот. Глядишь – то тут, то там, в сумасшедшем пробеге мелькнет новая маска, размыкается на мгновение круг, принимая ее в хоровод и... вот уже мчится в колоннадах древней римской улицы Кардо какой-нибудь бывший инженер из Куйбышева, нацепив на себя костюм, например, русского экскурсовода. Он бежит, машет палкой, на конце которой завязана яркая тряпочка, и кричит: «Группа из Винницы, не рабредаться!»

Кстати, на ниве русского экскурсоведения происходят чарующие истории, буквально напичканные обмененными смыслами.

Один мой знакомый, экскурсовод, вел недавно группу туристов из Баку по маршруту «Еврейский Иерусалим». На всем протяжении экскурсии под ногами у него путался маленький глуховатый старичок, слушал, оттопыривая ладошкой большое седое ухо.

Стоя у Стены плача, экскурсовод говорил, что после Катастрофы европейского еврейства произошел взрыв национального самосознания, и евреи провозгласили независимость Израиля.

После экскурсии старичок подходит к моему приятелю и, явно волнуясь, спрашивает чудовищным акцентом:

– Послушай, дорогой, не могу понять: какой туту вас катастроф, какой взрыв?

Тот терпеливо и громче объясняет, что после гибели шести миллионов евреев, что принято называть Катастрофой, произошел взрыв на-ци-ональ-ного са-мо-соз-нания, и евреи провозгласили государство.

Старичок вздохнул с огромным облегчением, заулыбался и говорит:

– Ух, слав Богу! Я думал – Пампей!

К слову: костюм полурасдетого туриста под знаком хамсина и к нему маска с намалеванным на ней обалделым выражением: «ну и жарища тут у вас!» – явление, распространенное за последние годы, с падением железного занавеса.

К моей подруге приехал в гости – поглядеть Израиль – сват Владимир Иванович, между прочим, кандидат химических наук. Приехал, разделся до трусов (у нас, действительно, довольно жаркий климат) и принялся расхаживать по квартире, вышлепывая ладонями на голом животе «Турецкое рондо» Моцарта. День эдак ходит, два, неделю ходит... Наконец, домашние, ошалев от «Турецкого рондо», решили удалить этого ударника из дому – хотя бы на день – проверенным способом: ему купили билет на экскурсию в «Иерусалим – город трех религий».

Живут они под Хайфой, а экскурсионный автобус отправляется от центрального автовокзала. Ну, объяснили свату как добраться до автовокзала, нарисовали – куда и как, только забыли написать название экскурсии. А он, пока добирался, забыл – в какой город едет, помнил только, что в столицу. И пошел он искать по улицам русскоговорящих людей (что нетрудно), и наткнулся на совсем свеженькую репатриантку, и спрашивает ее:

– А скажите, гражданочка, какой у вас тут город – столица?

И эта дура отвечает – что? правильно: Тель-Авив. Как ее учили в советской школе: «длинная рука Тель-Авива».

И пошел сват Владимир Иванович искать автобус, следующий по маршруту «Тель-Авив – город трех религий», что на слух местных жителей звучит ну до колик смешно.

Кстати о религиях.

Я не говорю о взаимоотношениях трех великих религий, сгрудившихся на священном пятачке Масличной горы. Я говорю о противостоянии, распрях и противоборстве внутри каждой из них. Да у нас внутри каждой конфессии сект, ответвлений, дворов и направлений – видимо-невидимо! У нас только православная церковь делится здесь на Белую и Красную, смертельно враждующие церкви. А католики, а протестанты, а армянская и грузинская епархии! А лютеране! А «Христиане за Израиль», устраивающие ежегодные абсолютно карнавальные шествия по Иерусалиму! А... христианская пасха – с усиленными нарядами израильской полиции, стянутыми на площадь перед Храмом Гроба Господня, пасха с ежегодными кровопролитными потасовками между братьями во Христе, принадлежащими к разным направлениям христианства – вот это всем карнавалам карнавал!

Есть в Иерусалиме рестораник «Кенгуру». Держат его Лина и Дато – она грузинская еврейка, он настоящий грузин, истовый христианин, долгое время был секретарем патриарха православной грузинской церкви. Бывший российский народ любит там бывать: симпатичные хозяева, вкусная кухня, да и компания своя собирается.

Однажды художник Саша Окунь привел в «Кенгуру» своего гостя из Италии, отца Серджо, иезуита. Вот, говорит, познакомьтесь, это отец Серджо. Иезуит.

Дато, который и без того похож на кота, выгнувшего спину, совершенно ошетинивается, отзывает Сашку в сторону и шипит:

– Ты что! Как ты смел привести иезуита в мой дом! Их на порог пускать нельзя, в Швейцарию, например, их не пускают, указ такой есть!

Тем не менее, прирожденное грузинское гостеприимство, очевидно, не позволило ему выгнать гостей. Они уселись за стол, заказали вина, сациви, лобио...

И отец Серджо, который, к тому же, оказался экуменистом, сидит, вкусно ест, благодушествует и рассуждает – как прекрасно станет в мире, когда сольются в любви все веры.

Дато слушает, слушает, и тихо закипает.

– Серджо, скажи, – наконец вкрадчиво спрашивает он, – когда все-все сольются, кто наверху будет?

Отец Серджо все-таки иезуит, выучка чувствуется, складывает под подбородком ладони лодочкой, возводит очи и смиренно произносит:

– Наверху будет Бог.

И Дато ничего не остается делать, как повторить этот жест. Несколько секунд они сидят друг напротив друга, как два прихожанина одного прихода.

Помолчали... Трапеза возобновляется.

– Серджо, скажи, – опять вкрадчиво вступает Дато, – когда все-все сольются, ниже Бога кто будет?

– Папа, – кротко отвечает иезуит.

– Ни-ког-да!! – кричит Дато, сверкнув глазами. Помолчали... Из кухни приносят свежую зелень, молодую картошку с солеными огурчиками...

– Серджо, скажи, – опять вступает Дато, – когда все-все сольются, в самом-самом низу, внизу всех – кто будет?

– Я, – отвечает иезуит, улыбаясь.

– Нет, я!! – страстно восклицает грузин, стукнув кулаком по столу.

Но пока не слились в порыве любви все-все веры – с единой вершиной и единым краугольным камнем в основании – нашим добрым Дато, – случается так, что на наших площадях бьют кровавые фонтаны.

Впрочем, это тоже в традиции средиземноморского карнавала – возьмите любую итальянскую или испанскую средневековую новеллу: под грохот музыки и раскаты смеха, в брызгах огней всегда сводились счеты с неверной возлюбленной, жестоким мужем, коварным другом, подлым предателем...

Вот только наша ближневосточная мясорубка внесла нечто новое в историю извечного арабо-израильского карнавала: когда в воздух взлетают ни в чем неповинные, никого не предавшие, никому не изменившие дети...

Возвращаюсь домой из города. Дверь открывает взвинченный сын, кричит мне:

– Где ты гуляешь, мы тут с ума сходим!!!

По телевизору передают экстренный выпуск новостей: двадцать минут назад в центре Иерусалима, на пешеходной улице Бен-Иегуда (в одном из магазинов которой я час назад купила себе отличный ежедневник в кожаном переплете), взорвали себя три террориста-самоубийцы. По предварительным данным, они были переодеты в женские платья и прогуливались среди столиков кафе, вынесенных на улицу в этот упоительный час предвечерней прохлады. Есть много раненых, больше десятка убитых, среди них – дети, женщины...

На экране телевизора под вой амбулансов мечутся санитары с носилками, бегут полицейские, мелькают искаженные ужасом, окаменевшие от шока, залитые слезами лица людей...

Я представляю себе, как три безумца надевают на себя огромного размера лифчики, чтобы больше вошло в них взрывчатки, как нацепляют парики, надевают дамские туфли, красят помадой губы, – как три безумца готовятся к последнему в своей жизни карнавалу только ради того, чтобы убить еще с десятка евреев. Я пытаюсь представить себе, как они переодевались, как смотрели друг на друга – ведь это страшно весело, ведь это смешно, ведь невозможно не рассмеяться?!!

Я швыряю в угол сумку с новым отличным ежедневником, который в любую минуту может больше не пригодиться мне в этой жизни, и ору:

– Гос-по-ди, на-до-ело!! Господи, как надоел этот кошмарный карнавал! Господи, что надеть, во что переодеться, чтобы стать невидимой, недостижимой, неуязвимой! Господи, во что переодеть детей, всех близких, весь народ, чтоб перестать быть вековой мишенью!!

На следующее утро после бессонной ночи я запрещаю домашним включать телевизор и радио. Я не хочу ничего слышать, ни одной подробности о вчерашнем теракте, ни одного имени, не хочу видеть ни одной фотографии жертв. Я выжата, как лимон, измучена, у меня нет сил не то что работать – просто жить, двигаться, совершать какие-то бытовые действия.

Медленно шаркая тапочками по кухне, в полной тишине варю себе кофе и слышу, как почти крадучись, чтобы не раздражать меня, муж выходит за газетой, а потом тихо шуршит страницами в комнате.

Вдруг раздается – я ослышалась, наверное? – его, почти истеричный смех.

– Опечатка! – кричит он мне. – Ну и опечаточка!

И показывает в разделе «Объявления»:

«Каин с большим опытом предлагает услуги по части обрезания».

Ну, конечно. Наборщица, наверняка новая репатриантка, вместо «коэн» набрала более понятное ей – «Каин», мгновенно вписавшись в стихию этого вечного, невозможного, неостановимого ни на минуту, трагически прекрасного карнавала.

1996 г.

«Я не любовник макарон», или Кое-что из иврита

Предотъездный ажиотаж в Москве вокруг многочисленных курсов по изучению иврита.

Не помню – кто из моих приятелей обронил после первого занятия: «Как вообще сознание русскоязычного человека может воспринять язык, на котором неприлично звучащее слово „ялда“ означает „девочка“?»

И вот: приезд, Иерусалим, обязательный «ульпан» – курсы иврита...

Что там «ялда», доложу я вам (которая, кстати, через каких-нибудь два-три урока бегло и просто произносится всеми как «елда»)! Что там невинная «ялда», повторяю, если наш преподаватель – неулыбчивая религиозная женщина в парике, в глухом, под подбородок, платье с длинным рукавом (в июле), каждые три минуты бодро повторяет непристойное слово «схуёт», от которого напрягается и переглядывается вся группа.

Вдруг Хана прервала свою речь, по-видимому заподозрив, что мы не все понимаем.

– Как будет по-русски «схуёт»? – спросила она на иврите, оглядывая класс. Повисло секундное молчание и один из учеников, пожилой доктор исторических наук, сказал в тишине мрачно:

– Да так и будет...

И все расхохотались.

Впоследствии выяснилось, что Хана, добрейшей души человек, рассказывая о непростой жизни в этой стране, просто советовала всем нам хорошенько изучить свои права (они же «схуёт») с тем, чтобы во всеоружии вступить в борьбу с пресловутым чудовищем – вездесущей израильской бюрократией.

И просто неловко вспомнить, как по приезде в Иерусалим я отказалась от прекрасной съемной квартиры – (редкая удача: наплыв репатриантов, все квартиры нарасхват) – только по одной причине: дом, в котором маклер предлагал нам снять эту квартиру, стоял на улице Писга. Я представила себе, как сообщаю свой адрес московским друзьям, и как, посылая письма, они выводят на конверте: Pisga-strit...

Нет-нет, сказала я маклеру, эта квартира мне не подходит.

Вид из окна, знаете ли, спальни, не очень, знаете ли, не фонтан... (Между прочим, «писга» означает – «вершина». Я потом жила в поселении, которое называлось «Вершины» – во множественном числе – «Псагот». И ничего. Очень любила это место.)

Но в по-настоящему идиотское положение я попала месяца три спустя после приезда.

У меня заболел зуб, и приятели порекомендовали хорошего зубного врача, не забыв предупредить меня, что Фирочка (именно так!) – женщина религиозная, в высшей степени деликатная, прекрасно воспитанная и щепетильная до чопорности.

Таким образом мне намекали, чтобы у Фирочки я не давала воли своему языку и своей свободной манере выражаться. Какой там выражаться, отмахнулась я, рта не могу раскрыть, всю ночь по стенкам гуляла.

Фирочка и вправду оказалась приятнейшей особой – с круглым улыбчивым лицом, ласковым голосом и убаюкивающей речью. «Откроем ротик... – бормотала она нежно, колдуя над моим зубом, – ... сейчас откроем зубик... положим ватку с лекарством... поставим пломбочку... полощите ротик...» и т. д.

Я расслабилась. Я, можно сказать, совсем размякла. Ангелы, кроткие ангелы реяли надо мной, и один из них – в белом халате – нежно овевал меня крылами...

Наконец я покинула кресло. То, что у зубного врача может быть совсем не больно, само по себе было ошеломляющей новостью. Все еще пребывая в сферах небесных, я достала

из сумки чековую книжку, ручку и, почти без усилия придав голосу интонацию кротости, приличествующей этому религиозному дому, спросила:

– Сколько я должна вам выписать, Фирочка?

Не меня лучезарного выражения на лице, Фирочка ласково сказала:

– Можете выписать дохуя...

Моя рука над чековой книжкой окаменела. Умолкла музыка небесных сфер. Все смешалось в доме Облонских.

Повторяю – я далеко не ханжа. Я, можно сказать, человек циничный, крепкое слово ценю и употребляю, но... В нужном контексте, помилуйте, в соответствующем окружении близких по духу людей и, главное, – к месту. Так сказать, ложка к обеду.

Не поднимая глаз от бланка чековой книжки, я сказала суховаго:

– Ну... столько у меня нет. Но если вы назовете определенную сумму, то я выпишу чек.

Взглянув на Фирочку, я впервые в своей жизни увидела физическое воплощение литературного штампа «алая краска залила ее лицо». Фирочка стала даже не багровой – фиолетовой. Крупные капли пота выступили на ее высоком опрятном лбу. Я испугалась за ее давление.

– Боже мой! Боже мой! – вскрикнула она, всплеснув руками, – что вы подумали?! Чек «дахуй», это значит, «отсроченный чек», а вы подумали... в моем доме.!!

Бедная! Движимая религиозным чувством сострадания неимущей репатриантке, она хотела облегчить мне условия выплаты. Хорошая штука – отсроченный чек. Выписываешь его сию минуту, а деньги со счета в банке сходят через месяц или два.

Словом, я оскандалилась.

Мои приятели сказали на это – сама виновата, мы тебя предупреждали, что дом приличный, а ты со своими замашками...

Что касается отсроченного чека, – тут я уже навсегда держу ухо востро, и меня провести не так просто. И вообще – как услышу незнакомое словосочетание на иврите, в котором явственно слышны знакомые русские слоги или даже слова, стараюсь помалкивать или, по крайней мере, реагировать осторожно. Правда, и тут случались накладки.

Однажды в поликлинике, в очереди к врачу со мной разговорился старичок, одинокий репатриант. То, сё – как всегда, разговоры у эмигрантов, особенно пожилых, особенно одиноких, особенно неимущих, крутятся вокруг темы «где еще что можно получить».

Он говорил, я вежливо слушала вполуха.

Он рассказывал о благотворительной столовой, в которой бесплатно кормят стариков-репатриантов.

Этим же вечером нас пригласили в гости. Семья адвокатов, в Израиле лет уже тридцать, люди респектабельные. За ужином речь шла о колоссальных благотворительных суммах, перечисляемых сюда американскими еврейскими общинами. О том, как эти суммы контролируются и на что идут. Словом, как всегда – о злоупотреблениях израильских чиновников.

Тогда я встряла, как обычно со мною бывает, – некстати. Полезла защищать этих чертовых чиновников. А вот, говорю, есть благотворительная столовая.

Хозяин дома небрежно так пожал плечами, закуривая.

– А, – говорит, – да. Тамхуй. Черт меня потянул за язык.

– Что, – спрашиваю сочувственно, – плохо кормят?

– Да нет, почему – плохо? Кормят хорошо. Только это не выход из положения.

Тогда я и сообразила, что слово «тамхуй», собственно, и означает – «благотворительная столовая». (Обыгрывая непристойность для русского уха звучания некоторых слов в иврите, можно было бы привести немало примеров. Что стоит, например, одно только слово «ибуд» («потеря»)? А, производное от него – «ибадти» – («я потерял»)?

Но мне не хотелось бы приводить их здесь только ради легкой усмешки читателя. В любом языке есть слова, воспринимаемые с трудом носителями других языков. Важно то, как влияет на человека чужая языковая среда в совершенно новой реальности.)

В совсем уже запредельную ситуацию я попала месяца два спустя после приезда.

С моим хорошим приятелем – историком и журналистом Мишей Хейфецем мы ехали в автобусе в Тель-Авив, на писательский семинар. Сидели через проход друг от друга и, надо полагать, громче принятого разговаривали. Впереди нас сидел почтенный господин лет шестидесяти, который время от времени оборачивался и внимательно на нас с Мишей посматривал.

В один из таких его оборотов, когда на нас вновь остановился пристальный изучающий взгляд, Миша, улыбнулся и спросил доброжелательно:

– Ата (ты) – мударк? Я онемела.

Во-первых, это неожиданное, неоправданное, чудовищное хамство по отношению к пожилому человеку так было несвойственно Мише!

Во-вторых, непонятна была Мишина доброжелательная улыбка, сопровождающая хамский текст, – она усиливала циничность оскорбления.

И, в-третьих, – откуда израильтянин вообще мог знать это исконно российское словечко из сленговых пластов последних лет? И почему Миша уверен, что тот его знает?!

На какую-то долю секунды я почувствовала дурноту нереальности происходящего.

И в этот момент, так же доброжелательно улыбнувшись, почтенный господин охотно откликнулся на иврите:

– С чего это вдруг я – мударк? Я вовсе не мударк.

И отвернувшись, уставился в окно на дивный пейзаж, бегущий вдоль шоссе.

– Так вот, – увлеченно продолжал Миша Хейфец, как ни в чем не бывало, снова обращаясь ко мне, – я, значит, иду в Центральный архив...

– Миша... – пролепетала я, впервые в жизни ощущая буквально, что значит выражение «поехала крыша», – Миша, за что ты обозвал этого человека?

– Кого? – изменившись в лице, спросил Миша. – Как – обозвал?

– За что ты обозвал его «мудаком»? Хейфец напрягся и... расхохотался.

– «Мудьяг»! – повторял он, хохоча, – «мудьяг» – «обеспокоен»! Я спросил его – не обеспокоен ли он чем-то. Он ответил: с чего это вдруг мне беспокоиться?

Однако, живешь-живешь, и привыкаешь... Более того – постепенно теряешь чувствительность «русского уха» к звучанию слова, начинаешь прилагать немислимые усилия, чтобы не засорять речь привычными названиями на иврите. И это, поверьте, действительно требует значительных усилий, потому что иврит – как язык – более «удобен» в употреблении, сжат, краток, ёмок.

Отрывок из Пятикнижия на иврите занимает на странице, скажем, три-пять строк; перевод на русский того же отрывка занимает почти всю соседнюю страницу.

Гораздо проще, рассказывая о знакомом, которого на службе перевели в статус постоянного работника со всеми вытекающими из этого статуса льготами, сказать «он получил „квиют“», чем вот так, как я – двумя строками выше – объяснять это по-русски.

Гораздо быстрее сказать «мисрад-клита», чем «министерство абсорбции новых репатриантов». Посопротивляешься с полгода, а потом и рукой махнешь. Жизнь плотная, не до разговоров, ну его – так проще. Вот и слышишь то и дело в автобусе разговор двух, вполне российского происхождения, особ:

– Я говорю «менаэлю» (начальнику): «Пока я не подпишу „хозе“ (договор) со всеми „тнаим“ (условиями) – я работать не стану. Я без „пицуим“ (денежной компенсации при увольнении), без оплаченных „несиёт“ (поездки на работу), без „битуах леуми“ (национального страхования) и без „купот-гимел“ (пенсионных касс) не буду работать!»

До отъезда мне несколько раз попадались книги ивритских писателей, переведенные на русский язык. Одна была из жизни мошава – сельскохозяйственного поселения. Жители мошава назывались «мошавники». Я читала и содрогалась. Как же не чувствует переводчик, думала я, что это слово ассоциируется в русскоязычном сознании сразу тремя словами: «мошенник», «шавка» и «мошонка»!

Прошло несколько лет, и я совершенно спокойно слушаю в последних известиях и про мошавников, и про ки-буцников. Да что там! – абсолютно не моргнув глазом перевариваю какое-нибудь «мемшала мехуевет» (правительство обязано).

Я даже привыкла, наконец, к тому, что имя моей дочери Евы звучит в настоящем, первоначальном варианте как «Хава» (правда, с ударением на последнем слоге). Мне уже не слышится в звучании этого имени словечко провинциальных лабухов – «хавать». Я уже не морщусь, когда звонит ее одноклассница и спрашивает Хаву. Я просто вежливо отвечаю, что Хавы нет дома. Больше не ассоциирую. Сознание отсекает. Сознание раздваивается и живет отдельной – русской жизнью – дома, в кругу близких друзей.

Мимо меня течет густая плотная река жизни на иврите. По необходимости я вступаю в эту реку и осторожно плыву мелкими неуверенными гребками, никогда не заплывая на глубину – боюсь утонуть.

Вот и сейчас, сижу за компьютером, а в соседней комнате ссорятся на древнееврейском дочь и сын. Они долго и подробно выясняют отношения, прибегая к сложным словесным выкрутасам (большинство из них я не понимаю и не вдаюсь); это совершенно не похоже на русскую ругань – иные принципы словообразования.

И я уже не расстраиваюсь, я смирилась – у них свой язык, у меня – свой.

Вот только пытаюсь еще – довольно жалко – «качать права» в собственном доме:

– «Со мной – только по-русски!» – кричу я в ответ на ту или иную, обращенную ко мне фразу на иврите. И они пытаются, бедные. «Хочешь макарон?» – спрашиваю я дочь, и она отвечает смиренно: – «Нет, спасибо. Я – не любовник макарон.» Или, когда мне звонят и, попадая на дочь (голоса похожи), спрашивают: «Это Дина?», она отвечает терпеливо:

– «Нет, это ребенок от Дины. Она не находится».

Как говорит мой муж ядовито: «За этим, кажется и ехала, голубушка?»

Кстати, есть слова в иврите до смешного похожие и по смыслу и по звучанию на русские. Например, слово «нудник», означающее просто – «зануда». Израильтянин, мой сосед, прогуливая своего кобелька, не обделяющего вниманием ни одной суки, говорит горделиво:

– У (он) романтик ве (и) нудник!

Что касается настоящего русского мата в полнокровной повседневной жизни израильтян, то он тоже имеет место. Да и как же иначе – страну эту строили, главным образом, выходцы из России, люди, поди, не чуждые традиции ядреного русского слова. А условия жизни в Палестине начала века, губительный ее климат и непростые, мягко говоря, взаимоотношения евреев с арабским населением очень и очень располагали к широкому употреблению глубинного матерного пласта русского фольклора.

Правда, с течением времени смысл того или иного выражения сместился, как-то смазлся, пожух.

Например, очень распространенное здесь выражение «лех кебенимат» означает всего навсего что-то вроде – «иди к черту».

В Тель-Авиве даже есть ресторанчик – «Кебенимат».

Не была там ни разу. Не знаю – что подают.

1995 г.

Иерусалимский автобус

Мой знакомый репатриировался в Израиль слякотной ноябрьской ночью.

О предотъездном кошмаре, ночных переключках в очередях в ОВИР, безотрадных лицах соотечественников в вагоне московского метро, издевательствах таможенников в Шереметьеве... писано-переписано, нет нужды повторяться.

Самолет приземлился в аэропорту Бен-Гурион ночью, и после всех мучительных процедур мой знакомый добрался на рассвете к друзьям в Иерусалим.

А утром ему предстояло освоить первый и главный для репатрианта маршрут – поехать на автобусе в министерство абсорбции.

– Ну, объяснили мне друзья как добираться, – рассказывал он, – написали на бумажке номер автобуса, нарисовали, как для идиота, схему: вот тут улица, вот тут остановка... Теперь я понимаю, что и правда выглядел пристукнутым.

Добрел по солнышку до остановки, влез в автобус – все как во сне.

Ну, еду...

А у водителя радио включено, и передают какую-то приятную ритмичную песенку. По-видимому, это был в том году модный шлягер.

И водитель прибавил звук. И вдруг весь автобус запел. Все пассажиры, без исключения. Ну, вот как мы в детстве, когда нас в пионерлагерь вывозили. И водитель крутит баранку и поет во весь голос. И вокруг меня – какие-то тетki с кошелками, пенсионер в дырчатой шляпе, какие-то подростки... все поют. А я, значит, вчера из Шереметьева... Я думал, у меня крыша поехала, думал, может, это съемки какого-то мюзикла. Вставной музыкальный эпизод. Знаешь, это был настоящий шок. Боялся, что разрыдаюсь. И вот что тебе скажу – с тех пор прошел уже не один год, хлебнул я здесь всякого, но этот поющий автобус в мой первый день – он меня долго на плаву держал, да и сейчас держит...

Все городские и междугородные автобусы в Израиле принадлежат двум компаниям – «Эгед» и «Дан». В Иерусалиме колесят только красно-белые автобусы «Эгеда». Эта всесильная империя уступает лишь власти царицы-Субботы, но на исходе ее, с появлением на небе звезд, автобусы «Эгеда» вновь выходят на линии.

Водитель автобуса – не безликий некто, отделенный от пассажиров стеклом кабины и табличкой «просьба не отвлекать водителя разговорами». Он – хозяин, причем полновластный, он и кондуктор, потому что пассажиры входят в автобус только через переднюю дверь. Короче – контакт каждого пассажира (пусть краткий), с водителем автобуса неизбежен.

А если ты каждое утро садишься на своей остановке в один и тот же автобус (они ходят по расписанию), то постепенно с суховатого «доброго утра» переходишь на «как дела?» и «что-то вчера тебя не было», а по прошествии времени и – «ну, как дочка – еще занимается балетом?»...

Хотя, конечно, это зависит от степени разговорчивости и доброжелательности водителя.

Например, когда я жила в небольшом поселении Псагот, удаленном от Иерусалима не столько расстоянием, сколько противо-стоянием (поселение это находилось чуть ли не в центре арабского города Рамалла), на работу в Тель-Авив мне случалось добираться на автобусе, который шел только раз в день – в шесть утра, колесил до Тель-Авива почти два часа по верхней горной дороге, забирая людей из многих поселений. Дорога эта была достаточно опасной, по большей части безлюдной, но проезжали и большие арабские села, где автобус не останавливался. Ездили в нем и арабские рабочие, добирающиеся на заработки в центр страны.

Я входила в автобус в самом начале маршрута, почти всегда была первым пассажиром и садилась на переднее сиденье, возле двери. Водитель, молодой сумрачный парень, на мое «доброе утро» только молча кивал и на всем протяжении пути не говорил ни слова.

Но каждый раз происходило одно и то же, со временем ставшее чуть ли не ритуалом: перед особо опасным участком пути, когда автобус должен был быстро проехать узкими улочками арабского села, водитель, держа левую руку на руле, правой доставал из кармана пакетик с мятными конфетами, одну брал себе, а вторую молча, не оборачиваясь, протягивал мне. И так, катая под языком успокаивающе-мятный шарик, мы с ревом проносились между заборами враждебного арабского села...

Что касается профессиональных качеств – в этом водители иерусалимского отделения «Эгеда» мастера высочайшего класса. Иногда маневрирование двух автобусов, впритирку разъезжающихся на какой-нибудь узкой улочке старого района Меа Шеарим кажется цирковым номером. Любопытно бывает наблюдать как, застряв на светофоре, водитель ставит автобус на тормоз на крутейшей горке чуть ли не на задние лапы и, развернув на руле газету, просматривает свежие новости.

Если говорить о правах и обязанностях, то водитель «Эгеда» не только хозяин, но и ответчик. Причем, ответчик за все: за то что плохо работает кондиционер, за то, что кончились проездные билеты, за то, что изменилось расписание движения автобусов, за то, что вообще сегодня жарко. Каждый, кому не лень, может предъявить свои претензии. Правда, этому каждому немедленно ответят – что думают о нем и о его претензиях.

Я никогда не видела, чтобы израильтяне в автобусе заранее готовились к выходу на нужной остановке. Здесь не может быть никаких: «Вы на следующей выходите? а перед вами выходят? а та девушка впереди тоже выходит?» – здесь пассажир встает со своего места тогда, когда автобус остановился на нужной этому пассажиру остановке.

Вот как ездит в иерусалимском городском транспорте среднестатистическая израильская тетка лет пятидесяти.

Она садится на рынке Маханэ Иегуда с пятнадцатью кошелками, очень постепенно, не торопясь – сегодня жарко. Публика сзади не напирает, а терпеливо ждет, пока она втащит все свои бебехи. Водитель тоже ждет. Правда он может подавать реплики, вроде – «сколько я могу стоять?», или «ты весь рынок скупила?», или «помогите ей кто-нибудь, а то меня удар хватит». Но ответ последует немедленно, и не самый приятный, так что в большинстве случаев водитель кипит, но помалкивает.

Вот она, наконец, влезла, втащила в салон все свои кошелки и плюхнулась с размаху на сиденье. Теперь она немедленно должна натягивать штору на окно – сегодня жарко. Она пытит, старается, кричит: «Водитель, ты бы лучше занялся своим делом, у тебя шторы на окнах не опускаются!» Он, глядя в зеркальце, отвечает: «Кто-нибудь, опустите ей эту штору, пока я не перевернул автобус!» Все пассажиры бросаются натягивать штору и всеобщими усилиями она, наконец, натянута. Вообще, впечатление такое, что тетка собирается ехать если не до Хайфы, то, по крайней мере – до конечной.

Но через две остановки она встает и, загоразивая свои обширным задом проход между сиденьями, принимается, не торопясь, связывать кошелки.

Водитель, глядя на ее манипуляции в зеркальце, подергивает автобус, как извозчик – клячу. И тогда тетка грозно покрикивает: «Рэга!!!» – (слово, означающее, вообще-то «мгновение», но имеющее, по крайней мере, еще десяток смыслов, в зависимости от ситуации, например: «погоди», «дай сказать!», «дай сделать!», «не перебивай», «минуточку!»). Существует израильский анекдот, один из многочисленных – об израильской армии: евреи запускают ракету: «пять... четыре... три... два... один... рэга... рэга... рэга... старт!!!»)

Итак, тетка вываливается на тротуар, но кошелки ее еще в автобусе. И она неторопливо принимает их из рук какого-нибудь парня, которому и тетка надоела, и ехать надо.

Но в эти же минуты в переднюю дверь втаскивается точно такая же тетка с десятью кошелками, плюхается на сиденье и первым делом принимается поднимать только что опущенную штору – ей темно, а у этих водителей в этих автобусах вечно все не работает. Водитель, глядя в зеркальце, кричит – да поднимите же кто-нибудь ей эту проклятую штору, пока я с ума не сошел. Весь автобус хлопотливо бросается поднимать штору...

Дети в Израиле – это отдельная тема, дети в израильском автобусе – это тема в теме.

Приехав, я почти сразу поняла, что оживленный разговор между двумя людьми вовсе не означает того, что эти люди – друзья или даже знакомые. Просто израильтяне легки на завязывание любого разговора на любую тему с кем угодно. Реакция при этом на любой, самый неожиданный поворот в теме беседы бывает потрясающей.

И хотя я, повторяю, сразу это поняла, несколько раз я попадалась на удочку абсолютно домашних интонаций – неважно, в дружеской беседе или в сваре.

Еду как-то в автобусе номер тридцать шесть. Очередная остановка. На тротуаре стоит девочка лет девяти, за плечами – школьный ранец. Она не торопится сесть в автобус.

– Ну?! – спрашивает водитель – долго я буду ждать?

– А после тебя во сколько будет следующий? – лениво вопрошает дитя.

– Давай, садись, какой тебе еще следующий? – восклицает водитель.

– Неохота... – отвечает дитя.

– Садись в автобус, я сказал! – грозно вскрикивает водитель.

– Что ты пристал к ребенку! – доносится откуда-то с задних сидений. – Не хочет, пусть не едет.

– Что значит «пусть не едет»? Нечего ей шляться! – взрывается водитель, – немедленно домой, уроки делать.

Тогда дитя с тротуара отвечает что-то вроде – сам делай свои уроки, если ты их когда-то недоделал...

– Пусть ребенок гуляет, езжай по маршруту! – орут пассажиры и автобус, наконец, трогается с места.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.